

Николай Георгиевич Гарин-Михайловский

Дела. Наброски карандашом



Часть сборника
Детство Тёмы (сборник)



Николай Георгиевич Гарин- Михайловский Дела. Наброски карандашом

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=622085
Детство Тёмы: Эксмо; Москва; 2006
ISBN 5-699-15448-7*

Аннотация

«Май, яркое умытое утро. Солнце ищет молодую зелень травы, но она еще долго будет прятаться под надежным покровом развесистых, тенистых деревьев...»

Содержание

I	4
II	10
III	18

Николай Гарин- Михайловский

Дела

Наброски карандашом

I

Май, яркое умытое утро. Солнце ищет молодую зелень травы, но она еще долго будет прятаться под надежным покровом развесистых, тенистых деревьев.

По укатанному шоссе Царского Села идут и едут: девятичасовой поезд, уносящий в летний душный Петербург всякого рода чиновничий люд на весь день, уже дает повестку длинным, протяжным свистком из Павловска.

На вокзале и под навесом платформы сильнее чувствуется бодрящая прохлада свежего утра. Лица отдохнувшие, почти удовлетворенные, – нечто вроде хорошенько вычищенного, поношенного все-таки платья.

Шляпы, котелки, цилиндры, всевозможных цветов военные фуражки.

Поезд подошел, с размаху остановился, выпустил пар, – зашумел и зашипел, – а в вагоны торопливо стали входить

один за другим пассажиры.

Большинство ищет уютного уголка, спешит его занять, вынимает прежде всего портсигар, закуривает папиросу, затем разворачивает свою любимую газету и погружается в чтение, не упуская из виду, Впрочем, и окружающей его обстановки. По расписанию дня это время переезда назначено для газеты, и надо прочесть ее всю, хотя бы для того, чтобы знать все и потом с одного слова понимать, о чем пойдет в своем кружке речь. Понимать и отвечать по разным, большею частью мелким злобам дня.

Есть, Впрочем, и серьезные любители чтения, и нет-нет какой-нибудь господин третьего класса в очках, с внимательным серьезным взглядом и вынет из кармана номер более серьезной газеты и погрузится в него. Еще реже попадают люди с журналами в руках: для получасового чтения журнал слишком тяжелая вещь, да еще летом, да еще с утра, перед департаментской работой, где и обязательного, серьезного столько предстоит.

Поезд уже у Рогатки, остановился на мгновение, свистнул и помчался дальше.

На площадке третьего класса счастливая, ветром растрепанная парочка: она, вероятно, курсистка или консерваторка, он – мало думающий о своем туалете, студент, – у них обязательных дел нет, и они счастливы, или, вернее, их лица беззаботны и далеки еще от тех складок и напряженных взглядов, которые явятся уже потом, в жизни.

Эту тягость жизни уже начинает, очевидно, чувствовать господин, сидящий у окна второго класса.

Он туповато смотрит в окно, мимо против него сидящей в большой шляпе, не старой, но и не молодой уже дамы, – очевидно, его сожительницы.

Очевидно, потому что интереса на лицах их нет: равнодушные, апатия. Глядя на них, так и видишь приготовленный уже карточный стол, партию раз навсегда дозволенных, с обоюдного – во избежание глупых ссор – согласия партнеров, легкую закуску в столовой: тогда им обоим не такой скучной покажется жизнь на свете, а временами, после удачной игры, лишней рюмки, перед перспективой заснуть и забыть все и вся и даже самого себя – даже и совсем хороша эта жизнь.

В первом классе, в отделении для некурящих сидят дамы и их мужья – уже большею частью в том возрасте, когда разговоры о любви и нежных чувствах так же к лицу, как летнее платье в тридцатиградусный мороз. В этом отделении чопорно и скучно: для этих жизнь уже вылилась, очевидно, в недостижимую для многих и неинтересную для всех, кроме их самих, скучную форму всевозможных этикетов хорошего тона: смотреть так, а не так; одеваться именно так, а не так. И так, а не так, – все это в свое время незаметно и без сожаления сойдет вместе с их владельцами со сцены, не оставив никакого следа.

До этих, впрочем, следов времени никакого дела нет в от-

делении первого класса для курящих.

Там жизнь данного мгновения, и следы его налицо, облака дыма, всегда бодрый, довольный кружок кавалеристов и разговоры о скачках, маневрах, мотивы последних шансонеток. В углу вагона остаток ночи: две вольных подруги в кружевах и шляпках громадных размеров, напудренные, а может быть, и подкрашенные. Они жадно ловят слова, движения и взгляды молодых военных, но те только изредка скользят пренебрежительно куда-то мимо. Они довольны и этим и с протестующим высокомерием отводят глаза от двух не сводящих с них глаз штатских.

– Ох-хо-хо! – потягивается, заломив руки за плечи, высокий и широкоплечий, статный, как статуя Аполлона, белокурый гусар.

– Что? – одобрительно спрашивает его более пожилой со товарищ.

– Спать хочется, – добродушно и смущенно признается белокурый гусар.

И все смеются, точно выдан секрет, и сквозь пудру краска удовольствия покрывает лицо одной из дам, и она смотрит в окно, стараясь не видеть и в то же время ловя боковые взгляды молодой компании.

В другом углу отделения забились двое чиновных и ведут неспешный разговор. Один – довольный, важный, другой – нервно, напряженно смотрящий в окно.

– Продержат они вас еще здесь с месяц, – уверенно, спо-

койно говорит важный.

– Но тогда, пропустивши рабочую пору, – горячо отвечает другой, – что ж я сделаю?

Важный молчит и потом удовлетворенно каким-то трескучим, резким голосом говорит:

– Ничего, конечно, не сделаете.

– А лишний год администрацию содержать, двести тысяч из казенного кармана?

Важный господин опять молчит и нехотя отвечает:

– Надо войти и в их положение. Россия – страна размеров необычных...

– Это и надо принять бы во внимание: за всех все равно ведь не передумаешь...

Собеседник лениво поднял брови и бросил:

– Приходится думать.

Он поднялся с места в виду промелькнувшего уже в окно Обводного канала и, протягивая соседу руку, опять снисходительно и с удовлетворением сказал:

– Месяц еще продержат – с этим помириться.

– Да, со всем можно помириться, – ответил, пожимая руку и привставая, его спутник.

Важный господин молча кивает головой и выходит на площадку, а его собеседник – Владимир Петрович Носилов, никого не замечая, смотрит напряженно и огорченно в окно. Он встал последним, когда уже никого не осталось в вагоне, пошел к выходу и думал:

«Врешь, добыюшь сегодня».

Он берет извозчика и едет налево.

Большой знакомый желтый дом.

Ну, конечно, швейцар – поклоны, другой швейцар и опять поклоны, третий, четвертый.

Стоят, смотрят в лицо: свежие, бодрые, готовые без устали кивать и раскланиваться.

А впрочем, они все-таки смягчают обстановку, придают в этот ранний час жилой вид этим пустым еще комнатам и коридорам.

А своими услужливыми и ласковыми лицами производят впечатление, что пришел все-таки, как-никак, а к своим. Владимир Петрович в ожидании слонялся по коридорам и думал: «Ведь в сущности, в общем, люди добродушные и незлобивые, да такова уже сила вещей».

II

Двенадцатый час. Носилов стоит перед низеньким, плотным, добродушным, сгорбленным стариком, не стариком – кто его знает, сколько ему лет. Лицо широкое, глаза маленькие, добрые, фрак торчит хвостиком, манеры простые, добродушные.

– Утвердили, – говорит он не то радостно, не то вопросительно Носилову.

Это приветствие Носилов слышит уже в десятый раз.

– Если утвердили, так за чем же задержка?

– Да ни за чем.

– Ну, так, значит, строить можно: давайте кредиты!

Иван Николаевич говорит:

– Ишь, скорый какой!

– Послушайте, Иван Николаевич, ведь дело от этого страдает, да и мне же нет сил ждать больше, истомился я здесь, – ведь четыре месяца...

– Да что вы, господь с вами, какие четыре?

– Да, конечно, здесь в Петербурге я четыре месяца...

– Ну-у.

Иван Николаевич махнул добродушно рукой и уж заговорился с другими.

Носилов терпеливо ждет.

– Послушайте, Иван Николаевич, я решил теперь являть-

ся к вам в одиннадцать часов и уходить в шесть часов.

– Сделайте одолжение, – сухо говорит Иван Николаевич.

– Иван Николаевич!

– Иван Николаевич я пятьдесят четыре года, а один за всех.

– Иван Николаевич, пожалейте же... ну зачем же без толку мне здесь околачиваться? Ну, рассудите же, ведь надо меня отпускать, ну пройдет еще месяц, два, – наступит же момент, когда надо будет вникнуть и в мое дело. Ну почему вам не вникнуть сейчас, зачем томить, мотать душу.

– Ах, господи! Ну что вы пристали, ей-богу?! Что я могу здесь сделать?

– Иван Николаевич, если вы не можете, так кто же может?

Иван Николаевич роется в своем столе, бросает все и говорит:

– Пойдем.

Иван Николаевич ведет Носилова через целый ряд комнат, где у каждого стола сидят чиновники с озабоченными лицами, что-то переключивают, переключивают и переключивают.

– Ивановское дело, – раздается торопливый голос подбегавшего и скрывшегося уже озабоченного чиновника.

– О господи! Ему ивановское, тому петровское, черт его знает за какое и братья!

Чиновник берется за ивановское, раскрывает, тупо-огорченно смотрит, смотрит и вдруг вспыхнул, быстро склады-

вает ивановское и опять сосредоточивается на петровском.

– Почему мы не можем открыть им кредитов? – подходит к этому чиновнику Иван Николаевич.

– Каких кредитов? – спрашивает чиновник.

Ему не хочется оторвать сосредоточившуюся мысль от петровского дела, хочется и ответить.

– Да вот, – говорит Иван Николаевич, и, прерывая сам себя, спрашивает: – Николай Васильевич пришел?

Чиновник оставляет петровское дело и отвечает:

– Пришел.

Голос его многозначителен, и Иван Николаевич щурит левый глаз. Чиновник только машет рукой. Подлетает третий и начинает быстро сообщать какую-то новость.

Все четверо взасос слушают.

– Надо самому идти, – говорит Иван Николаевич и уже идет.

– Иван Николаевич, голубчик, – чуть не за фалды хватает его Носилов, – кончим уж мое-то дело.

Иван Николаевич несколько мгновений смотрит на Носилова, точно впервые видит его, и рассеянно стал говорить чиновнику:

– Послушайте, разберите вы вот с ними...

Иван Николаевич скрывается в дверях.

– Да вы чего, собственно, хотите? – спрашивает Носилова чиновник.

Так как этому господину Носилов еще никогда ничего не

говорил, то он и начинает с Адама и доходит наконец до момента своего стоянья перед ним.

Господин слушает, заглядывает в петровское дело, шевелит целую кипу таких же дел, нервно теревит себя за цепочку, закуривает папиросу и наконец теряет всякую нить носиловского рассказа.

– Да ведь это в канцелярию министра, – говорит он, когда тот смолкает.

Носилов смотрит на него во все глаза.

И чиновник, в свою очередь, немного сконфуженно смотрит тоже прямо в глаза Носилону:

– Вам чего, собственно, надо?

Носилов в полном отчаянии – начинать опять сначала?

Входит неожиданно Иван Николаевич, берет его под руку и говорит:

– Он вам ничего не поможет. Вся задержка оттого, что смета к нам не препровождена.

– Как не препровождена? Да неделя, как препровождена!

– Не может быть! Идем в регистратуру.

Иван Николаевич прав.

Носилов летит на третий этаж к старшему своему товарищу по выпуску.

– Послушайте, батюшка, – говорит он, – оказывается, вы в счетный отдел сметы не препроводили?

– Как не препроводил? препроводил.

– Да нет же!

– Что вы мне рассказываете!

Идут в регистратуру. Действительно, не препроводил.

– Куда же я препроводил?

Старший берет журнал и внимательно роется сам.

– Эврика! он препроводил не в общую канцелярию и не смету, собственно...

– Куда же я смету девал? Я помню, я ее отправил... Черт его знает! нет сил!

Он бежит к себе, опять роется на своем столе – сметы нет.

– Директор просят!

Старший бросает Носилова и идет в кабинет директора.

– Дело Шельдера у кого? – выходит он озабоченный через несколько минут из кабинета директора.

– Шельдера, Шельдер?!

Дела Шельдера ни у кого нет.

– Оно у Шпажинского, – говорит чей-то голос.

Шпажинский сегодня не пришел.

– Зарез полный, по делу Шельдера требует справки директор, Шпажинский не пришел, какая это служба?!

– Ей-богу, точно гостиница, – несется ворчанье из кабинета старшего.

– А удачное сравнение, – затягивается и весело подмигивает молодой, с вызывающими и смеющимися глазами чиновник.

Он смолкает, потому что входит старший и сам роется на столе Шпажинского. Как на грех, дело Шельдера оказывает-

ся запертым в столе, а аккуратный Шпажинский ключ унес.

– Тьфу! – облегчает себя старший, – ну, уж это, прямо можно сказать, свинство со стороны Шпажинского: перешел себе на частную службу и даже не сдает дела.

Старший уходит в кабинет к директору, а молодой чиновник растолковывает Носилкову:

– Шпажинский уже три месяца молит его выпустить, а они под разными предлогами его держат: ну что ж, потерять место в восемь тысяч? Из-за чего?!

Носилов пожимает в ответ плечами и без мысли выходит в коридор.

Он бессознательно подходит к двери директорского кабинета, чтобы не пропустить старшего, который там теперь, у директора.

Тут же у дверей, в ожидании очереди, слоняется с папкой и Иван Николаевич.

– Ну что? – спрашивает он у Носилова.

– Нет сметы, – разводит руками Носилов.

– И в претензии, батюшка, нельзя быть, – добродушно говорит Иван Николаевич.

Оба они отходят к большому окну, оба облакачиваются и смотрят из окна в сад, а Иван Николаевич благодушно говорит:

– Ну, вы сами вот считайте: теперь что? Май? Исходящий номер уже десять тысяч сто двадцать первый, да столько же входящих. Пять минут только подержать каждое дело в ру-

ках, пять минут. Много ли? а ну-ка, посчитайте.

Иван Николаевич заинтересовался задачей и, смотря повеселевшими глазами в окно, шепчет:

– Десять тысяч, двадцать тысяч... по пяти минут – сто тысяч, разделить на шестьдесят, по нулю отбросить, десять тысяч на шесть... Это что же будет? тысяча шестьсот часов... Ну, хотя от одиннадцати до шести, значит, семь часов, – на семь... два... двадцать, ну хоть три, двести тридцать дней. Январь, февраль, март, апрель, на круг, ну хоть двадцать пять дней... сегодня двенадцатое – еще двенадцать, а там вдвое выходит... Так ведь в пять минут всего... С вами одним сколько вот уж: что ж тут сделать можно?!

– Да ведь ничего же вы и не делаете, стоит все, – огорченно, равнодушно отвечает Носилов.

– Ну, не очень-то стоит: десять тысяч все-таки исходящих, да входящих... за день, до шести часов, голова в пивной котел вырастет.

– Да кто говорит! Удивляться только можно, как у вас всех нервы выдерживают! Понимаете, лучшее же время уходит... я уже и письма перестал получать из дому: я каждый день, вот уже месяц, телеграфирую домой, что завтра выезжаю... Не знаю даже, что и делается там теперь...

Очередь Ивана Николаевича к директору, потому что старший вышел.

Старший бежит и на ходу решительно кричит Носилову:

– Батюшка, завтра – сегодня секунды свободной нет!

– Но завтра, Семен Павлович, будет?

– Будет, будет, – доносится успокоительный голос старшего уже с верхней лестницы.

Носилов провожает его глазами, – какая-то надежда, что завтра выпустят, и тоска.

Он смотрит на часы: два часа. Ехать в город, купить еще по записке, что не куплено, да послать опять телеграмму домой.

III

Шесть часов вечера. Последний свисток, и уже мчится из Петербурга поезд. Пестрая, разноцветная, нарядная дачная толпа: молодые франты, дамы во всевозможных шляпках. Потонул в этой толпе желто-зеленый чиновничий люд.

Окна настезь в вагонах: ароматный теплый вечер смотрит в окна, и так легко дышит грудь среди зеленеющего простора полей.

Носилов едет, уткнувшись уныло подбородком в окно, и смотрит, смотрит.

Вот и Царское, – высыпала часть публики, остальные – большинство – умчались в Павловск.

Носилов едет уже на извозчике, там извозчики старинного типа, которого уже нет в Петербурге, но жив он еще в Царском, и прыгает Носилов вместе с неуклюжими дрожками и кучером по тяжелой булыжной мостовой узких улиц Царского Села.

В одной из этих улиц, на даче, в пяти комнатах живет его сестра и зять, и незамужняя сестра, и шесть человек детей замужней сестры, и он же у них. Хотел в гостинице остановиться, но настояли, и должен был уступить. Неудобно и им и ему, но уж так заведено, да и все-таки меньше расходов... Но много расходов: и куда уходят только эти деньги? Вот идет какая-то девушка – энергичная фигура и смотрит прямо в

глаза ему. Хорошее лицо! Не все ли равно ему, хорошее или нет: он женат, дети. Нет, интересно: оглянулся, и она оглянулась. Эх, домой бы уж скорее: от семьи совсем отвыкаешь... Какая невозможная мостовая... как жизнь интеллигента наших дней: крестьянину хоть плохо, да при своем деле он, какое ни на есть... Пробовал и он, Носилов, свое дело завести – не пошло. Какое дело теперь идет, да и для своего дела разве такое воспитание, такая подготовка нужны? Только и быть чиновником да двадцатого числа ждать. Господи, господа, когда ж они выпустят наконец?!

– Дядя приехал, дядя приехал!!

И веселая гурьба детей с десяти до трех лет бегут к нему навстречу. Они уже утомили его своим криком, и Носилов, подавляя раздражение, чувствуя, что надо же хоть веселый вид сделать этим жизнерадостным молодым побегам, добросовестно целуется со всеми ими и говорит показывая на извозчика:

– Там для вас.

– Ну что, устал? – встречает старшая сестра, – хочешь, сейчас будем обедать, – Витя через полчаса будет.

– Подождем, конечно.

Младшая сестра бросила играть, целуется и спрашивает, стараясь быть равнодушной:

– Ты один?

Да, он ведь обещал привезти Струйского и совсем забыл!

– Один, Струйского не застал, оставил записку, чтобы зав-

тра приехал обедать.

Носилов врет, чтобы не огорчать еще больше своей невнимательной забывчивостью.

– Ну и отлично, – говорит благодушно старшая сестра, для которой все отлично, – когда едешь?

– Опять завтра.

И это оказывается отлично, и невозмутимое благодушие сестры передается брату.

«Что ж, в самом деле, – думает он, – живут же люди, вон едят, и жизнь идет своим чередом: ничего такого уж худого нет».

И он повеселевшим голосом говорит:

– Какой вечер!

– Идем в сад.

– Смотри, мама!

Молодая компания весело-смущенно тащит пакеты.

– Ну, уж этого не люблю: в другой раз, дети, от дяди не брать.

Компания восторженно подхватывает:

– Не брать!

И старший подходит, обнимает за шею своего дядю и говорит наставительно ему:

– Слышишь, не брать.

– Ну хорошо, хорошо.

– Смотри...

Приехал и зять.

Он тоже такой же чиновник, но центральный, на постоянном месте.

Большой, черный, невозмутимый, с густым басом.

– Ну что?

– Опять до завтра.

– Эх, батюшка, подтверже с ними надо.

– Не драться же...

– Будут они водить: им что!

– Ну, господа, обедать: тебе твои раки, – говорит сестра, обратясь к брату, – тебе твой форшмак.

Тут же на террасе обед – сытный, летний.

После обеда старшая сестра спрашивает мужа.

– Немножко заснешь?

– А потом в Павловск, что ли? – соглашается муж.

– Ну и отлично, – иди и ты, – советует она брату.

– Так прилечь разве.

– Что же сыграть тебе? – спрашивает молодая сестра брата и идет к роялю, а Владимир Петрович с хозяином уходят в спальную.

– Дети, в сад – папа и дядя спать будут.

Кажется, и дела никакого не было, а устал. Хорошо полежать после сытного обеда. Хорошо играет сестра: хорошая вещь – музыка. Легкий сон охватывает незаметно. Еще слышна музыка, но где-то далеко-далеко: нежная, мелодичная, как звенящий ручей где-то там, где так много воздуха и жизни и радостей... Где, где это было? когда? Какие-то глаза

смотрят... да, да, глаза...

– Спят, – заглянула и тихо шепчет младшей сестре старшая.

Та кивает головой, беззвучно встает, закрывает крышку рояля, и обе сестры осторожно выходят на террасу.